

АРКАДИЙ ЗАСТЫРЕЦ

Я
ПРОСТО
ПУШКИН



Аркадий Застырец
Я просто Пушкин

«Издательские решения»

2015

Застырец А.

Я просто Пушкин / А. Застырец — «Издательские решения»,
2015

«Современный цинизм, а лучше будет – кинизм, или даже неокинизм представляет собой уже развивающуюся и далеко продвинувшуюся в своих разнообразных культурных проявлениях реакцию на предсмертное торжество рационализма и прагматизма. Я причисляю себя к неокиникам. А поскольку считаю романтизм эпохи Пушкина первым сполохом неокинизма, определенная связь здесь налицо».(А. Застырец)

Содержание

Во глубину сибирских руд	6
Буря мглою	9
Я вас любил	13
Кавказ подо мною	16
Песнь о Вещем Олеге	20
К Чаадаеву	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Я просто Пушкин
Эпизоды из жизни величайшего гения
российской национальной словесности
Аркадий Застырец

Фауст
Мне скучно, бес!

Мефистофель
Так низведи
Бессмертья приговор жестокий!

Фауст
Что там белеет впереди?

Мефистофель
Белеет парус одинокий...
(Сцена из «Фауста»)

© Аркадий Застырец, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Во глубину сибирских руд

Осенью 1826 года, необыкновенно слякотной и дымной даже для Санкт-Петербурга, Пушкин вступил в свою, напротив, восхитительно светлую и свежую пору. Только что, пробдев полночи, сочинил он одну из, по собственному убеждению, лучших своих стихотворных эпистол и вот мчался теперь по Невскому в Зимний, чтобы показать царю. И это кроме того, что был он теперь без памяти влюблен в старшую дочку известного всей столице своими небезопасными причудами васильеостровского почтмейстера Гончарова – Натали. Она была *charmante terrible*, а Пушкину и вовсе казалась неземной красоты девицею, сулившей ему в грядущем порочные пучины на законном основании взамен опостылевших холостяцких ночей.

Государь тоже был хорош: после долгих лет упорного воздержания от милостей по отношению к юному стихотворцу, намедни впал в нескончаемые щедроты, не только заметив, но и буквально обоготворив Пушкина с подачи добрейшего Василия Андреевича. Целыми днями, согласно гулявшим по Питеру слухам, носился по дворцовым и прочим своим покоям и громогласно восторгался то той, то иной пушкинской строчкой, употребляя разнообразные лестные титулы, а третьего дня, уж не по слухам, а запросто в глаза ляпнул Пушкину: «Ты, Сашка, не достоин сам себя! Светишь куда попало... Просто солнце русской поэзии какое-то!»

Пушкин и теперь, подбегая к кондитерской Розенбаума, не утерпел – зарделся, вспомнив государевы слова... И не сразу заметил Жуковского, отчаянно колотившего шляпой по стеклу изнутри кондитерской. Широко улыбаясь белоснежными зубами, он и его поманил внутрь, указывая перстами другой руки на блюдо с эклерами и чашку горячего шеколаду.

– Угощаешь, Василий Андреевич? – недоверчиво воскликнул Пушкин, нависнув над порогом.

– Угощаю, брат, коли есть у тебя что-нибудь новенькое.

– Еще бы нет! – Обрадовался Пушкин и, скинув боливар с крылаткой, верный своей постоянной привычке, взгромоздился на стул. Но замешкался там, добывая в кармане панталон помятый листок с эпистолой.

– Читай же, пока шеколад не остыл! – Подбодрил его лукавый Василий Андреевич. И тут же ему вдруг вспомнилось, как на прошлое Рождество подарил он Пушкину свой портрет по случаю проигранной партии в покер. Сам же на свою голову обучил он его этой новомодной картежной забаве, на что и намекнул, подписав портрет: «Победителю-ученику от побежденного учителя», а вслух добавил:

– Это тебе, Саша, наместо денег – в затруднении я теперь.

Сверкнув на портрет горячими арапскими глазами, Пушкин плюнул в сердцах, однако, вчитавшись в подпись, прибрал портретец за пазуху и простодыро ухмыльнулся: пригодится, мол!

– «Во глубину сибирских руд», – разнеслось меж тем по кондитерской со стула. – Назидательное послание моему тезке графу Одоевскому под Иркутск и всем, иже с ним.

И полились бессмертные строки...

– Во глубину сибирских руд
Гоните лености истому
И помните, что честный труд
И есть для вас дорога к дому.

Махайте спорою киркой,
Покорную сгибая спину —
И будут мир вам и покой,

Коль соблюдете дисциплину.

Пушкин читал, изрядно возбуждаясь, рука его взвилась над правым ухом, глаза слегка закатились, и на обрамленном кудрявой порослью лице зазолотились капельки праведного пота.

– Без рассуждений о правах
Отчизне пользу приносите —
Ведь спазмы юношеской прыти
Комичны в ваших-то летах.

Марата ль лавры, Робеспьера
Перед зеркалом примерять —
Дурная, в сущности, манера.
Россия – мать вам иль не мать?

Не вняв ни ярости, ни спеси,
Простил вас добрый государь —
Лишь пятерых из вас повесил,
А мог четвертовать, как встарь.

Акститесь, бунтари гневливы!
Примите смиренно цепь и плеть.
Вы царской милостию живы, —
Так не дерзите власти впредь!

Дурным страстям не потакайте
И не решайте за народ:
Он вашей дани не возьмет,
Хоть целый мир ему отдайте.

Смиритесь! Годы пробегут,
Весна настанет, и у входа
Нагая встретит вас свобода
И всем шампанского нальют.

– Хорошо, брат! Ничего не скажешь, – сказал Жуковский и, выдержав эффектную паузу, громко крикнул.

– Да я уж и сам вижу, что недурно! – Вздохнул вдруг Пушкин и понуро съехал задом на стул.

– А что ж ты печалишься, друг мой? – Полюбопытствовал Жуковский. – Уверен, что и царю сия эпистола придется по вкусу...

– А то! Я, брат Василий Андреевич, прямиком к нему ведь и собирался, да, видишь ли, вспомнил тут об одном дельце...

– Каком еще дельце? – Изумился Жуковский, с любопытством наостряя мраморное ухо.

– Да ведь Натали меня с утра дожидается на стрелке Васильевского острова, а я свинья эдакая, только что об ней сообразил...

– Это, брат, ничего. Обычная коллизия – от столкновения личных чувств с общественным долгом.

– Что же делать, Василий Андреевич? – Чуть не заплакал Пушкин.

– А я на что? – Молодцевато подмигнул ему Жуковский и выхватил листок с эпистолой из авторских рук. – Ступай к своей Натали, ни о чем не беспокойся. Отнесу я в Зимний твое творение.

– Вот спасибо! – Подпрыгнул Пушкин и облобызал Жуковского на живейший манер. – Так я побегу пролетку ловить?

– Беги, беги, мон шер! Уж я ли о твоих интересах не попекусь?

Схватив боливар с крылаткой под мышку, Пушкин поскакал по Невскому эдаким пешим уланом и вскоре, впрыгнув в свободную пролетку, был таков.

Буря мглою

Жуковский же в Зимний что-то не особенно торопился: миновав от кондитерской два квартала, заглянул на почту и провел там не менее часа, разложив на щербатой столешнице пушкинский листок и скрипя пером по другому, только что купленному. Но вовсе не начисто он переписывал эпистолу своего приятеля, ибо крепко не чист был на руку, как впрочем, и все завзятые романтики. К тому же отличался он слабоволием, был завистлив, подловат и отнюдь при этом, заметьте себе, не был славянофилом.

В не слишком возвышенных Жуковского человеческих качествах, в отличие, к примеру, от Грибоедова, убедился бы всякий, когда бы ему довелось оказаться свидетелем встречи с царем, последовавшей все же вскоре и описанной ниже.

Царь вышел к Жуковскому в бодром состоянии и готов был по-свойски обнять поэта, однако тот согнулся в рабские три погибели, так что даже сюртук на нем затрепал.

– Полно тебе лебезить, Базиль! – воскликнул государь снисходительно и отер о лайковые рейтузы обслонявленную Жуковским перчатку. – Надо что ли чего? Или так, поболтать заглянул?

– Не извольте гневаться, ваше императорское, мимо шел, да и дай, думаю, зайду засвидетельствовать и прочее, – пробормотал Жуковский, не подымая глаз от шикарной половой инкрустации.

– Полно, полно, что ты, в самом деле, как чужой! Корчишь из себя Сперанского какого-то... Садись давай, чай погоняем.

– Да я только от Розенбаума, ваше императорское... Сами знаете, шеколадом с эклерами обожравшись, – подобоострастно замахав руками, возопил Жуковский.

– Ладно не бойся, что я, по-твоему, насильник какой? Не хочешь чаю – давай по трубочке высуслим. Табак – отменный, у турка краденный!

– Не смею возразить, ваше императорское, я для вашего удовольствия не то что трубочку, а хоть и тюк целый прокурить готов...

– Еще чего! – захохотал государь. – Тюк ему подавай! Вот то-то, все вы, литераторы, народ, на дармовшинку падкий! Ну, да ладно, тюк не тюк, а по трубочке – так и быть.

Тут он легонько шлепнул в ладоши, и в бесшумно распахнувшиеся двери впорхнула семя, смазливая турчанка в шальварах и с яхонтом в пупке. На руках у нее был изящный поднос, а на подносе – два курительных прибора невероятной красоты.

Раскинувшись на покой и выпустив из-под пышных усов голубую струйку, государь небрежно кинул Жуковскому, побагровевшему с первой же затяжки:

– Ну, как там наш национальный гений? Сашка-то твой? Пишет чего, или все пунш да бабы?

Жуковский затряс головой и выдавил через силу:

– Пишет, это... Изредка, ваше императорское...

– И что ж? Хорошо ли?

– Не смею судить в вашем ослепительном, – пробублькал Жуковский, не решаясь отложить от себя трубку.

– То есть как не смеешь судить? – вскинул царь нафабранные брови. – Кто ж, если не ты, любезнейший, судить будет? Белинского разве читать прикажешь? Уволь, голубчик! Упаси меня Господи от этих доморощенных гегельянцев!

– Что вы, что вы! – подскочил Василий Андреевич и вновь замахал руками, заодно отгоняя от лица табачную тучу. – Вот оно, последнее-то Сашкино. Не извольте ли, как говорится, лично пробежать...

– Отчего же? Давай, погляжу!

Царь вырвал из его трясущихся пальцев листок с наново переписанной на почте эписто-лой и, сдвинув лоб к переносице, проворно сменил трубку на лорнет.

Жуковский, приглядываясь исподлобья за эволюциями по мере чтения государевой физиономии, все более бледнел и кукожился. Когда же царь, скомкав дочитанное в железном кулаке, поднял, наконец, глаза, из них в до смерти напуганного Василия Андреевича метнулся такой пучок зевесовых молний, что он буквально окаменел, и только мокрые студенистые губы отличали его от римских статуй, расставленных в нишах вдоль стен аудиенц-зала.

– Это что? Что за памфлет с диатрибой, я тебя спрашиваю! Сам-то ты читал сие несу-разное безобразие?

И Жуковский не только убедительно замотал головою, но пролепетал, стуча зубами:

– Что вы, ваше императорское величество, я – не читатель, я, с вашего позволения, писа-тель, и азбуки-то толком не разбираю...

В этот миг у него из головы вылетело почти все, что он только что сочинил и перенес на бумагу, старательно подделывая пушкинские вензеля. Только и крутилось, что «оковы тяж-кие падут, и всем царям придет капут», да вот еще: «Совы ухнут – тюрьмы рухнут».

«Не переборщил ли я? – с ужасом подумал Жуковский. – А ну, как меня самого вместе с Сашкой государевым гневом придавит?»

Но царь по натуре был человеколюбив, отходчив и незлопамятен. Яростно вцепившись в трубку зубами, он глубоко затянулся и молвил в облаке дыма уже совершенно без волнения:

– Поди ты прочь, Базиль. Все настроение мне испортил.

Жуковский вскочил и кинулся к выходу, как ошпаренный. Уже в дверях он услышал рас-катившийся под сводами государев рык:

– А Пушкина сыщи, не медля, и хоть волоком – ко мне!

На миг обернувшись в поклоне, Жуковский протягивал нечто подобострастно-утверди-тельное и кубарем скатился по просторным лестницам к Александрийскому столпу.

«Вот ведь как все в одночасье перевернулось, – горестно размышлял Пушкин, сидя в карете, уносимой резвыми конями на юг. – Был я чуть ли не самым счастливым в столице человеком, и вдруг – на тебе! – сделался жалким идиотом. Всего лишен – и милости царевой, и нежностей премиленькой Натали, и дружеского участия Василия Андрееича...»

Ничего он, казалось, не понимал теперь в течении и распорядке собственной жизни – лишь смутно ощущал, что наказан несправедливо, по какому-то архангельскому недосмотру или человеческому недоразумению. Чем прогневила царя его эпистола? Иль вычитало что-нибудь между строк монаршее бдительное око?

Стоило вспомнить государево лицо, слегка перекошенное яростью, и от холодного пота налипло на спину исподнее.

– Ты что ж это себе позволять стал сметь, Александр Сергеевич? – зловеще вполголоса процедил государь, как только Пушкин примчался давеча в Зимний по приказу запыхавше-гося Жуковского. – Ладно, допустим, я тебе не по нраву. Но отчего ж ты иных самодержцев невзлюбил? Чем тебе Луи не хорош? В какой такой мерзости брат мой Вильгельм Оранский тобою замечен? Почто принцессу Августу презираешь? А премудрую Елисавет? А Владимира Красное Солнышко с тезкой твоим Александром Великим?

Пушкин натурально обомлел и поначалу не знал, что отвечать.

– Что молчишь? Или не ты бунтовщикам в Сибирь эпистолу сочинил?

– Я, государь! – опомнившись, гордо отвечивал поэт в своем авторском праве. – И за каждое в оной словечко ответ нести готов!

Подбородок его вздернулся, поломав воротничок, бакенбарды встопорчились, и глаза сверкнули, как воды Занзибара под полуденным солнцем.

– Ах, вот ты как! – вконец разбушевался император. – Ни слезинки, ни тени раскаяния! Дерзишь, как ни в чем не бывало!

– Не в чем раскаиваться, ваше величество! – с нарастающей уверенностью в собственной правоте воскликнул Пушкин. – Как думал, так и написал!

– Как думал? Так вот ты, оказывается, у нас какой! Мыслитель, что ли? Хорошо ж...

Царь умолк ненадолго и, не отрывая выкаченных глаз от поэта, склонился ухом к Бенкендорфу, что-то пробормотавшему под нос едва слышной скороговоркой.

– Молодец, Бенкендорф! – одобрил скороговорку государь и ткнул перстом в направлении пушкинской переносицы. – Раз ты, Александр Сергеевич, в умники записные рвешься, вот тебе задание от Академии наук: тотчас собирайся и с подорожной по казенной надобности езжай в Молдавию, страну вечного лета. Будешь там за нашествием саранчи наблюдать и все свои наблюдения аккуратно записывать.

– Как вашему величеству будет угодно, – не думая даже смириться и лишь слегка кивнув, отрезал Пушкин, – только я ни в чем не виноват, ни перед вашим величеством, ни перед всею матушкой-Россией!

– А коли выдастся тебе в молдавских степях досуг, помолись от души да о своей вине-то и подумай! – Царь будто и не услышал последних слов поэта.

– Доколе же, государь? – возопил тот громогласно.

– А дотоле, покуда я сам тебе дозволения возвратиться не выдам!

Вымолвив сей приговор, повернулся он на каблуках к Пушкину задом и удалился, чеканя шаг. А следом и Бенкендорф, стараясь в ногу.

Когда карета с Пушкиным выезжала за пределы Санкт-Петербурга, в воздухе произошел загадочный процесс с участием сильного ветра, воды и легкого морозца, и первый снег закружил над еще не остывшей землей. Пушкин, грустя, извлек из саквояжа дорожный бювар и, от качания с тряской перемазав пальцы чернилами, нацарапал несколько строф. Предполагал ли, что станут они бессмертными? Бог весть! И Бог весть, что у них, у поэтов, вообще бывает на уме в такие миги.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То звезду в сугроб зароет,
То луну, на свет летя.
На Руси, где год от года
Гуще горестей гурьба,
Как спесивица-погода,
Переменчива судьба.
Только радуга-надежда
Семицветье развернёт —
Тут же сволочь и невежда
Над державой верх берёт.
Но пускай не быть счастливым
Здесь Господь тебе судил,
Оставайся терпеливым,
Сколько сердцу хватит сил!
Не кидайся с бурей слиться,
Довершив собой ряды
Всякой нечисти, что тщится
Выжать горе из беды.
Будь ты сам себе опорой

На заре и склоне лет —
Всем держать придется скоро
Перед Богом-то ответ.

Я вас любил

Памятно жарким летом 1827 года, а именно 16 июня, Иван Александрович Керн, гвардии полковник, участник Бородинского сражения и блестящий офицер, доживавший свой служебный век в Одесском гарнизоне, прошел из кабинета сквозь сияющую анфиладу в будуар к супруге своей Анне Петровне и бодрым голосом спросил:

– А как вы посмотрите, Анхен, на то, ежели я направлю приглашение юному Пушкину, не Левушке, а Саше, стихотворцу? Он давеча как раз прибыл в Одессу на поиски саранчи по заданию Академии наук...

Анна Петровна, красавица в некоторых летах, но изумительно свежая и признанная душою одесского бомонда, сохранила невозмутимость в лице, однако с тревогой почувствовала, как сердечко ее затрепетало, и оттого невольно ухватила себя за ключицу холеными пальчиками, уронив напудренную пуховку в подол.

– Ничего не имею против, мон шер, когда тебе это будет приятно, – сказала она с отчетливой прохладцей, не кинув ни тени фальши на тон своего экстатически прекрасного грудного голоса.

– А? Ну, добро, добро... – рассеянно пробормотал Иван Александрович и повернулся, чтобы отдать распоряжения человеку.

Бал, по обычаю устраивавшийся Кернами, пользовался отменной репутацией, и совершенно справедливо: здесь четырежды в год сбирались самые сливки одесского света и, помимо всяческих сюрпризов и невинных забав, происходила ярмарка невест высочайшего полета. Но Бог с ним, с этим балом! До него мы еще доберемся. А отчего же, спросите вы, встревожилось сердечко Анны Петровны, при вести о юном стихотворце Пушкине? Этот же вопрос занимал теперь и самое Анну Петровну. «Ужели не иссякло во мне то чувство, помстившееся мимолетным, что вспыхнуло три года назад на новогоднем вечере у московского полицмейстера Плевако? – Думала она. – Ужели я, столь опытная, прямо сказать, стреляная в амурных делах воробьица, попала на крючок этому казановистому арапчонку Пушкину?»

Увы, увы! Да ведь вне всякого сомнения так оно и было! Весь день провела Анна Петровна, будто барка контрабандистов в прибрежном тумане, и к вечеру, с приближением бала, поймала себя на том, что при малейшем воспоминании о Пушкине конечности ее холодеют, а на щеках начинает поплясывать лихорадочный румянец.

Меж тем пробил назначенный в приглашениях час, по стенам и в люстрах запылали все свечи, и Анна Петровна с застывшей на коралловых устах дежурной улыбкой обок с балагурившим невпопад Иваном Александровичем вышла встречать мало помалу съезжавшихся гостей.

Но, хотя хозяйка и не подавала виду, хотя и отвечала что-то обращавшимся к ней знакомцам и ободряла улыбкою только что представляемых ей незнакомцев, все лица в ее огромных глазах, подобных зацветшим омутам среднерусским, перепутались и слились, а на место сего растущего кома то и дело упрямо подставлялся обрамленный кудрявыми баками лик страстного мальчика Саши. Алые уста его дрожали в предвкушении бурных ласк, а темные глаза метали жгучие сполохи африканской безудержной страсти.

Однако бал уже начался и разгорался обыкновенным чередом, а Пушкина все не было. Анна Петровна не знала, что делать и куда деваться, поскольку неясное томление уж душило ее постепенной змеиной хваткой, а выдать своих мук на людях не позволяли гордость и страх перед людскими толками. И все же один раз она едва себя не разоблачила, с большим трудом сдержав раздражение, внезапно закипевшее и едва не выплеснувшееся из нее на молодого пехотного капитана, когда тот с любезной настойчивостью вздумал выпрашивать у нее очередную мазурку.

Анна Петровна давно бы сказала занемогшей и удалилась, но – в том-то и заключался безвыходный ужас создавшегося положения! – не в силах была расстаться с надеждой на то, что Пушкин явится с минуты на минуту.

В этой попытке провела она без малого два часа. И вот, наконец, мажордом, с мелькнувшей у него за спиной, как показалось Анне Петровне, парой кремовых крыльев, ударил жезлом по порогу и напыщенно провозгласил:

– Граф Александр Сергеевич Пушкин!

Потом умолк на мгновение, словно поперхнулся, и вдруг, выкатив глаза, добавил:

– И мешанка Авдотья Семеновна Лихина с ними...

Мажордом растворился в проеме, и в бальную залу впорхнул Пушкин. Сам-то он был вполне комильфо, но дама, тащившаяся под руку с ним, хотя, впрочем, и смазливая весьма, выглядела ужасно! Что за прическа! Какой-то пыльный съехавший на бок тупей и по два локона справа и слева вдобавок! Что за платье! Мало того, что скандально декольтированное, мало того, что пошитое из какого-то неприличного травяного атласа, так ведь еще и украшенное невообразимыми в этом сезоне голубыми и белыми рюшами, пущенными по рукавам и подолу!

Анне Петровне на миг показалось, что она теряет сознание, но звонкий голос возникшего подле Ивана Александровича привел ее в ясное чувство, заодно рассеяв нависшую в зале зловещую тишину:

– Александр Сергеевич! Насилу тебя дождались! Ты, брат, как всегда, не без экивока! Каналья эдакий! Все б тебе публику смешить?

– Отчего же смешить, Иван Александрович? – приняв троекратное лобзание хозяина, отвечал Пушкин с блуждающей на губах лукавой улыбкой. – Позвольте представить: Авдотья Семеновна, мой добрый друг и поверенная в сердечных делах. Вчера имел удовольствие познакомиться с ней в чайной у Шлиппенбаха.

Авдотья Семеновна, очевидно подученная Пушкиным, смущенно потупилась, кокетливо замахав ресницами, и сделала чудовищный книксен, едва не свалившись при этом на спину.

Анна Петровна, как замороженная, протянула Пушкину вялую руку, но ощутив демонстративную нежность, с какою он к ней приложился, тотчас ее грубовато выдернула и зло прищурила глаза.

Однако же бал продолжался. Пушкин выглядел безмятежно веселым и, пропуская в себя каждый подвернувшийся бокал шампанского, не пропускал ни одного танца, громко хохоча над своей Авдотьей Семеновной, безбожно путавшей фигуры и спотыкавшейся на каждом шагу.

– Что скажешь, милая Анхен, – утирая выжатую смехом слезу, спросил Иван Александрович, – не правда ли, премилый озорник, этот Саша? Ничуть не жалею, что его пригласил...

На счастье Анны Петровны, он не глядел на нее в сей миг, а то бы прочел в ее дивных глазах гнев и страдание, не объяснимые ничем, кроме поруганных чувств и обманутого любовного ожидания. И опять-таки, она удалилась бы, сказавшись на головную боль, но боялась произнести хоть слово, столь сильны были переполнявшие ее чувства, – лишь улыбалась годами затверженной улыбкой, позволявшей любую истину похоронить глубоко в душе. Она уж не видела вокруг никого и ничего, не замечала ни супруга своего, ни новых бессовестных выходок Пушкина, поскольку одна и была у ней забота – не дать воли подступившим к горлу слезам.

Меж тем, минул час, и другой, и третий. Гости потихоньку разъезжались, и когда в очередном танце по залу закружилось всего несколько пар, Иван Александрович протяжно зевнул под перчаткой и, чмокнув Анну Петровну в щечку, с извинениями отправился на покой.

Анна Петровна, в свою очередь решив, что теперь уж и ей прилично будет покинуть гостей, не прощаясь, повернулась и величавой поступью направилась в спальню.

Вот тут-то и подскочил к ней Пушкин. Скандальная Авдотья Семеновна куда-то безвозвратно исчезла от него, и в лице Александра Сергеевича произошла изумительная перемена. Анна Петровна вздрогнула, когда он незаметно сжал ее руку сухими перстами и сунул в нее вчетверо сложенный листок. Пред нею был все тот же страстно влюбленный в нее юноша-поэт, встревоженный возможным отказом и по самую кудрявую макушку переполненный нерастратной нежностью.

– Анна Петровна! Любовь моя неизменна. С сим и жду вас тотчас в оранжерее до тех пор, пока не изволите прийти иль не велите прогнать вшаей, – прошептал он чуть слышно, но слова его громом потрясли ее отчаявшееся сердце.

Надо ли говорить, что свидание в оранжерее, залитой лунным светом, состоялось и было бурным, как черное море в девятибальный шторм. Анна Петровна рыдала от страсти, когда Пушкин принудил ее стать на четвереньки и уткнуться лицом в белоснежные розы, напитанные чистой росой. Он и сам какое-то время стонал и выл, как могут стенать и выть лишь влюбленные поэты, раскопав в обильных юбках и кружевах наипышнейшие прелести Анны Петровны и прильнув к ним своим разгоряченным проворным торсом.

А что же нам, не бывшим там потомкам, осталось от памятной ночи? Всего лишь тот самый листок, упавший из рук пылкой пушкинской пассии и забытый ею под влажным кустом. Вот он, свернутый вчетверо. Развернув, прочитаем.

Я вас любил. Любовь еще быть может...
А может быть, уже не может быть.
Сомнение порою крепче гложет,
Чем жажда старой страсти изменить.
Положишь глаз на фею молодую —
И кажется, что поперёк оси,
Сломав на втулках корку ледяную,
Хоть всех святых с орбиты выноси,
Вращается весь мир, куда попало,
С дремучими лесами на отлёт,
И посреди замедленного бала
Она одна вписалась в поворот...
Но разве тем от прошлого восторга,
Обратный путь отчаянно закрыв,
Нас отделяет с холодностью морга
Бесповоротный глинистый обрыв?
И разве память скорбно онемела
И судорогой сердце сведено,
Чуть юность альтом трепетным отпела
Былой любви креплёное вино?

Кавказ подо мною

Так и не отыскав саранчи ни в Бесарабии, ни в Одессе, ни в калмыцких унылых пустошах, Пушкин продвигался все далее на юг-юго-восток. Но вовсе не любопытство естествоиспытателя, как могло показаться неискушенному в пушкинских повадках прохожему, подгоняло его в дорогу. Или, если и любопытство, если и естествоиспытателя, то уж во всяком случае испытывающего естество каким-то особенным способом и с непонятного науке боку. В доказательство достаточно перелистать томик стихов Александра Сергеевича. Там, ежели поглядеть свежим глазом, непременно натыкаешься на изящную элегию, рожденную именно в ту нелегкую пору. Вот она, извольте. Чтоб вам не тратиться на поиски.

Прощай, любезная калмычка,
Слезинки грязные утри.
Моя помчится дальше бричка...
Пусти штанину, не дури!
Да, ты по-своему красива
И соблазнительна, а всё ж
Совсем иная перспектива
Тебе положена. Ты ждёшь,
Что позабыв происхожденье
И кофе с трубкой по утрам,
Я разделю твоё влечение
К колючкам пыльным и пескам?
Напрасно, милая дикарка!
Твой час когда-нибудь пробьёт —
Джигит тебя полюбит жарко
И поперёк седла швырнёт.
В свою потёртую кибитку
Свезя насильно, как овцу,
В твою иголку вденет нитку,
Невинность приведет к концу.
Глядишь, в кибитке разведутся —
Потом, со временем, не враз —
Мальцы с мордашками, как блюда,
И щёлками наместо глаз.
А я... Что по себе оставлю,
Помимо гробовой трухи?
Тебя ли разве что прославлю,
Вот эти посвятив стихи
Твоим грудям тугим и ляжкам,
И тайным искоркам в глазах,
И тем бесчисленным поблажкам,
Что несмотря на стыд и страх...
Но полно, тут я умолкаю,
Прости, голубушка, прощай
И всё, что ныне предрекаю,
Приять смиренно обещаю.

Итак, засим, простившись с соблазнительной калмычкой, пересек удрученный своим изгнанием Александр Сергеевич бескрайние степи и не особенно вскоре, но все ж таки не через до бесконечности долгий срок заехал в края, откуда виднеется невероятная в своей страшно-ватой красе кавказская гряда.

И точно, горы Пушкина едва ли не напугали, буквально придавив к почве возвышенным совершенством, увенчанным шапками вечных снегов. Так что он даже онемел, в смысле стихотворчества, на неопределенное время и оттого безнадежно впал в некий пароксизм тоски и самокопания, наподобие аглицкого сплина.

Меж тем несущая поэта бричка постепенно пошла в гору, медленно, но неизбежно приближая его к русской крепости Кудук-хала близ Железноводска. В пятидесяти верстах от этой последней ввиду чеченской границы цитадели славного нашего воинства пришлось ему пере-сесть в тряскую арбу, доверившись белобоким волам с пологими рогами местного происхождения. Волы свою службу знали, и лучше них здесь не было силы, способной тащить любые грузы по ленточке опасной горной дороги.

Полсотни верст по перевалам – не то, что по ровному месту: в час не переедешь. И Пушкин, ерзая задом по скудной соломе, ничуть не повеселел за время этого пути, то утыкаясь носом в отвесную скалу, то с оторопью ахая над пропастью, грозившей затянуть его вместе с арбой и волами в бездонную свою глубину.

Однако, стоило показаться из-за хребта бастионам Кудук-халы, как сделалось легче на сердце: там ждала его встреча со старыми знакомцами, сулившая наверняка приятные минуты, каковыми не может не отличаться время, проводимое добрыми русскими людьми в застолье и теплых дружеских беседах.

И предчувствие не обмануло поэта. У самых ворот крепости встретил его бывший некогда флигель-адъютантом самого генерал-аншефа Маевского, но за острый язык сосланный сюда с разжалованьем до капитанского чина Петр Петрович Хламидов. Человеком он слыл несколько заносчивым, но Пушкина, с коим познакомился и встречался в Москве и Петербурге, привечал, чтобы не сказать любил как родного.

– Александр Сергеич, наконец-то! Поверишь ли, с утра тебя дожидаясь! – с неподдельной радостью выдохнул Хламидов и заключил Пушкина в крепкие солдатские объятия. – Пойдем, брат, скорее. Все уж для тебя приготовили – и стол, и постель, и помыться с дороги.

Не успел Пушкин и слово вымолвить в ответ, как откуда-то налетел на него невеликого росту лысоватый господин в сапогах на босую ногу. Подбегая, он успел на ходу запахнуть мундир, но позабыл о цветастых помочах, свисавших из-под одного и тем непоправимо выдававших рассеянность своего хозяина. По бокам его аккуратной лысины развеялись незачесанные соль с перцем пряди, и уже по ним одним можно было узнать в забавном господине подполковника Василия Семеновича Арестова. Вот уж был по общему признанию замечательный человек! Знатный специалист по флешам, редутам, форсам и контрфорсам и всяческим прочим полевым и крепостным укреплениям, Василий Семенович отличался приветливостью, подкупавшей всех его знакомых.

– Саша! Родной ты мой человек! – поборов одышку, кричал он, хлопая Пушкина по плечам и спине. – А что бы загодя-то, загодя-то сообщить! Только третьего дня вестовой письмецо твое доставил. А то бы мы бычка завалили!

– Пустяки, Василий Семенович, – не без слезы усмехнулся Пушкин. – Корочку хлеба да плоску воды, а более мне, опальному, и не положено!

– Не-по-ло-же-но?! – возопил Арестов, совершенно всерьез приняв пушкинский сарказм. – Это что еще за выдумки, не положено? Мы тут, брат ты мой, от начальства далеко, так не изволь беспокоиться, напоим и накормим так, что до постели без подмоги не дойдешь!

Вскоре, помывшись и испив целебной водицы, прославившей здешние места на всю Россию, Пушкин убедился в том, что Василий Семенович не шутил по поводу крепостной хле-

босольности. Наевшегося, что называется, от пуза, его повели в экскурсию по всем кудухалинским достопримечательностям. Показывали с гордостью все, что ни попадало на глаза, – и склад с провиантом, и лошадей с собаками, и чеченских девок, усердно занимавшихся коврочкачеством в особом сарае.

– Это как же? – изумился Пушкин, отлично знавший чеченские ревнивые обычаи обращения с женским полом. – Откуда вы разжились этими красавицами?

– А это, Саша, наше новое оружие, – с наслаждением пощипывая сивый ус, разъяснил Арестов. – В генералитете, вишь, изобрели – и тотчас нам секретный приказ: при каждой удобной оказии красть у чечни баб и девок.

– Так ведь они же... Для них же...

– Именно, брат! Позор несмываемый. Так через это мы и ожидаем, что в отчаянии чеченцы со дня на день с переговорами к нам придут, миру запросят. А мы им, вестимо, наши кондиции: соблюдайте, мол, и живите со своими бабами покойно...

– Ну и дела! – поводитил Пушкин носом, а глаза между тем скопил на примеченную им в толпе ткачих особливо хорошенькую чеченку.

День этот за всеми хлопотами и толпою новых впечатлений быстро завернул к закату. Как и бывает в горах, темнота спустилась незапно, так что Пушкин, отвлеченный к тому же довольно шумным пиршеством, сумерек и не приметил.

Все уж изрядно, по-русски говоря, назююкались, Хламидов откуда-то притащил гитару с гвардейским этаким бантом, и в свежем высокогорном воздухе звонко разлился романтический струнный перебор. Тут же поднял хмельную голову поручик Охлобыстин, слышавший здешним Фаринелли, о чем Арестов горячо прошептал Пушкину на ухо, – и поверх струнного звона раскатился его волнующий тенор: «Ой, да не вечер, да не ве-ечер!»

– Пойдем, Саша, до ветру, – пробормотал Василий Семенович и подцепил Пушкина под локоток.

С хохотом и прибаутками помочились они с самого высокого бастиона. И тут Арестов неожиданно подтолкнул Пушкина в бок:

– А что, брат? По-прежнему ли ты охоч до женского полу?

– Не жалуясь, Василий Семенович, – пробормотал тот. – Да к чему ты спрашиваешь?

– А к тому, брат, что давеча, я приметил, ты глаз-то на одну чеченочку положил.

– Да полно вам шутки шутить! – увернулся было в смущении Пушкин.

– Положил, положил! Не отпирайся! – настаивал Арестов и снова, хохотнув, подтолкнул его в бок. – Так ведь это можно устроить!

– Не совестно вам, Василий Семенович! За кого вы меня принимаете? Как могли вы хотя на минуту допустить, что честь моя мне позволит девушку силой взять, на правах, так сказать, победителя?

– Нет, это ты меня обижаешь, Александр Сергеевич! – насупился Арестов. – разве ж я говорил, силою?

– А то как же?

– А так... Я к тебе ее вызову. Ты у ней согласия испроси, как благородному человеку подобает. И уж если не согласится, пеняй, брат, на себя! Не такой уж ты, значит, гений русской словесности, как молва о тебе говорит.

– Ну, если так, – улыбнулся Пушкин, – то изволь, я согласен. Да только понимает ли она по-русски?

– Десятка полтора слов знает... Но ведь на то ты гений, чтобы и двумя словами в чувствах своих девицу убедить!

Нечего и добавить к этой истории, поскольку об остальном не сохранилось достоверных свидетельств. Однако известно, что после того и до конца своей долгой жизни Василий Семенович непререкаемо чтит Пушкина как наипервейшее светило словесности российской, что и завещал своим детям и внукам вместе с полным собранием сочинений Александра Сергеевича издания сорок второго года, с золотым обрезом и в телячьей коже с богатейшей инкрустацией. А сам Пушкин по прошествии волшебной ночи, послужившей прекрасным довершением доброго дня, совершенно приободрился и встретил рассвет следующего утра, стоя в одном исподнем на том самом, высочайшем, бастионе Кудук-халы, с коего в полночной тьме справляли они с Арестовым малую нужду, и с только что исписанного им клочка бумаги оглашал изумленные кавказские горы и доли бессмертными строками:

– Кавказ подо мною, Кавказ надо мной...
Весь мир от Кавказа лежит до Кавказа.
Свобода, небесного свода зараза,
Царит сокровенно в юдоли земной.

Орёл ли, Кура ли, морская ль волна,
Горянка ль с кувшином сбегает по склону —
Бескрайняя воля мне всюду видна,
Конец и граница любому закону.

И даже, скалу растопырив, кристалл
Свободен в своём проявлении верховном,
И солнце в его полыхании ровном
И жарком, покуда ледник не настал.

И звёзды иные, столпившись в туман
Для нашего влажного смертного глаза,
Хотя под собой и не чувят Кавказа,
В неволе орбит прозревают обман.

Песнь о Вещем Олеге

Дорога, находишься она не на высоте полутора верст над уровнем моря, где не оставалось почти ни пылинки, была бы размита непрерывным ливнем в обычную для России непролазную кашу. А так, об эту пору, которую странно было называть зимней, лишь красная глина, кое-где выступавшая на поверхность по не известным Пушкину геологическим причинам, препятствовала движению коварною скользкостью своею. А двигался Александр Сергеевич, покорный так и не исполненному заданию Академии наук, в погоне за призрачной саранчой все дальше на юг, полагая через несколько дней достичь сказочно-богатого города Тифлиса. О нем он и прежде слышал много заманчивых рассказов и рассчитывал подольше побыть в этом чудесном месте с его шумными базарами, серными банями, чаем, вином, обилием христианских храмов и прочей небесной красоты.

Однако же дурная погода, застигшая его в пути и не желавшая отставать уже третий день, рождала в сердце тоску и покушалась на вдохновение, все-таки не оставлявшее Пушкина. Он как раз сочинял историческую песнь об одном из древнерусских князей Олеге по прозвищу Вещий. Прозвище оное Пушкину никогда не было до конца понятно. Вот и теперь, с остервенением вгрызаясь в и так разлохмаченное перо, ломал он голову над тем, от какого слова оно происходило: «весть» или «вещь»? И склонялся к тому, что это одно и то же, ибо весть всегда приходит в вещественной форме, и, напротив, всякая вещь в действительности есть весть. Как вдруг его раздумья прервал резкий разворот арбы и гортанная ругань погонщика. Отняв от лица бледную руку, поэт взглянул из-под мокрого куколя на дорогу. Его арба едва не столкнулась с другою, двигавшейся навстречу. Теперь погонщики волов безбожно крыли друг друга, и совершенно не ясно было, каким образом они полагают разъехаться: две арбы сцепились колесами и, как ни крути, проехать им друг мимо друга на этом участке возможно было только с нарушением основополагающих законов – либо евклидовой геометрии, либо ньютоновой механики.

И тут гений Пушкина явил себя в совершенно неожиданной ипостаси, очевидно доказывавшей, что Академия наук могла бы ему поручить и более серьезное дело, нежели погоня за, по-видимому, не существующей саранчой. После пяти минут напряженного соображения он, несмотря на все обстоятельства, весьма досаждавшие и препятствовавшие свободному течению острой инженерной мысли, подобно Архимеду воскликнул «Эврика!» и принялся объяснять изумленным погонщикам словами и знаками, что следует делать.

Когда до темноватых горцев дошло, чего он от них добивается, оба подпрыгнули враз, и каждый при этом хлопнул себя по лбу. Да и как тут было не догадаться! Следовало не разъезжаться, а поменяться арбами, развернуть их, перепрячь волов и перетащить груз с одной арбы на другую и с другой на одну. И ехать себе дальше как ни в чем не бывало!

Так они и поступили. Причем радовались, как дети, находчивости русского барина, отчего и работа спорилась. Пушкин меж тем отошел в сторонку, пытаясь вновь сосредоточиться на своих этимологических изысканиях... И тут он краем глаза приметил, что со встречной-то арбы переносят мертвое тело, не в гробу, а так, в нечистой рогоже. Однако по обшлагам на свесившихся плетью руках он сразу угадал в мертвецке русского дворянина.

– Кого ж это вы везете? – воскликнул он с тревогою и приблизился к телу, небрежно кинутому горцами в сырую солому.

Погонщик встречной арбы сразу понял, о чем его спрашивают, но на всякий случай переспросил, коверкая русские слова:

– Эта-та? Эта кого везотэ?

– Да! Это, это! – несколько раздражаясь, подтвердил Пушкин.

– Эта Грибоэда везотэ. Его, барин, пэрсы зарэзалы, а мы тэпэрь везетэ.

– Какого Грибоеда? – испугался Пушкин и, наклонившись к мертвецу, отдернул у него с лица рогожу.

Не сразу, а все ж таки он узнал в заледеневших чертах своего тезку и доброго друга Александра Сергеевича Грибоедова, композитора, умницу, автора бессмертной комедии «Горе от ума», бывшего к тому же ловким шпионом и дипломатом, до тонкости знавшим обычаи Востока и наизусть помнившим пятьсот двадцать восемь из сказок тысячи и одной ночи. Пушкин отшатнулся и, закрыв лицо руками, горько зарыдал.

Давно ли, кажется, стоял Грибоедов перед ним в Михайловском, блестя своими знаменитыми очками, вскинув руку с бокалом, и громоподобно вопрошал, изображая своего персонажа Чацкого: «А судьи – кто?»

«Вот какая, стало быть, суждена нам была новая и последняя встреча! – подумал Пушкин, глотая слезы. – Не так ли и мне когда-нибудь предстоит возвращаться с чужбины? Недвижным, холодным, с окостеневшими перстами и заострившимся носом...»

Наверное полчаса, никак не менее, оплакивал он погибшего друга. Но что было делать? Жизнь продолжалась своим чередом: повозка со страшным грузом скрылась за поворотом, и жгучее в первом приступе своем горе постепенно притупилось упав ледяным камнем на дно пушкинской души. К вечеру того прискорбно памятного дня, сидя у огня под крышей бедняцкой сакли и непроизвольно жуя жестковатый чурек, Пушкин завершил начатую давеча песнь о Вещем Олеге, все в ней наново переделав. И выразил в этом величественном творении, как известно, итог собственной борьбы с лютой ненавистью к убийцам Грибоедова.

Как ныне, собирается Вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Поскольку считает, что он – человек,
Спускать не умеющий даром,

Спускать не желающий сим подлецам
Их выходок буйных на воле:
Он им не какой-нибудь хлипкий пацан,
Бегущий от крови и боли.

Напялив кольчугу, выводит коня,
За ним поспешает дружина,
И лесом дремучим три ночи и дня
Ведут их с гордыней кручина.

Но раз на рассвете из гущи травы,
Ступая сурово и немо,
Навстречу Олегу выходят волхвы,
Бредущие из Вифлеема.

– Что скажете, старцы? Какая беда,
И в хвост погоняя, и в гриву,
Не знаю откуда, свела вас сюда,
На нашу славянскую ниву? —

Спросил их с усмешкою Вещий Олег,
Согретый воинственным жаром,
И ляпнул вдобавок, что он – человек,

Спускать не умеющий даром.

– Всё ходите, значит, – сказали волхвы
И вскинули бороды смело, —
На вы да на вы, да на вы, да на вы.
Не тошно вам? Не надоело?

А мы вот по морю бескрайних снегов
Идём, как по суше, и знаем:
Блажен, кто возлюбит свирепых врагов.
Мы любим тебя и прощаем.

С тех пор девятнадцатый минул уж век,
А будет ещё девятнадцать.
Доныне собирается Вещий Олег,
Да так и не может собраться.

К Чаадаеву

Пушкин сызмальства был очень дружен с Чаадаевым, о котором стоит рассказать особо. Все знали, что звать его Петром, но – вот ведь какая ерунда – никто в точности не знал тогда и не знает до сих пор, как его по отчеству. Будто назло, и сам Пушкин в переписке называет его то запросто Петрушкой, то Петром Батьковичем.

Еще одно интересное обстоятельство: никому не ведомо и как правильно писать фамилию этого странного человека – чрез одно или чрез два «а». «Что за пустяки? – быть может, скажете вы. – Неужели нельзя поискать насчет него каких-нибудь государственных документов? Был же у него, в конце концов, как и у всякого нормального российского гражданина, паспорт?» Но в том-то и дело, что, судя по всему, паспорта у Петра Чаадаева (или, если угодно, Чадаева и даже Чаадаева) отродясь и до самой кончины не бывало! Не сохранилось и никакой иной казенной бумаги с начертанием его полных имени, отчества и фамилии. Пылится в архивах множество писем его, на русском и немецком языках, адресованных к разным господам и дамам, в том числе и к самому государю-императору, однако письма эти он непременно подписывал либо загадочными инициалами «П. Ч. А. С. Я.», «П. Я. Ч.», «П. И. Ч.» и тому подобными, либо совершенно неразборчивой загогулиной.

Чаадаев (будем называть его так) был тщедушный малый, росточку, прямо сказать, наполеоновского, и амбициями обладал соответствующими, то есть, вопреки своей физике, сильно на вырост. Внешне не отличался он ни особой прелестью, ни тем обаянием, что бывает иногда свойственно и самым уродцам. Красноватый носик Чаадаева, словно турецкая туфелька, загибался промеж близко поставленных глазок с колючими огоньками, подозрительно умно светившими, казалось, из самых заветных глубин его яйцеобразной головы. Руки были непомерно длинные, ноги – напротив, коротковаты. Одевался он всегда с иголки, но вечно выдавал в себе недостаток хорошего вкуса – то замотает шею платком из какой-то лапчатой тафты, то к зеленому сюртуку натянет розоватые панталоны в серую полоску.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.